

С тех пор, как Женька с Надеждой, после очередной переподготовки, в Плесецк, на космодром уехали, узкий довоенный диванчик — в моем распоряжении, единственное спальное место, на котором, не всегда, конечно, все-таки засыпалось. Совсем скоро за ветхостью его спровадят на свалку, заменив новокупленным. Но сейчас он при деле, а на раскладном, широченном, еще первой послевоенной конструкции, спят мама и Юлька. Прежнюю ее кровать Муравьев, разобрав, на Преображенку по частям перевез. Казенный платяной шкаф, как и в войну, все еще загораживает дверь в большую комнату, а не на кухню и в коридор, как до войны было. Считается, что так удобнее. И Генке в МАИ, и отцу на службу рано вставать, мне же в «Вопли» к двенадцати. А если кому из родни задержаться в Москве потребуется, братец снимает с антресолей раскладушку. С приездом Макриды раскладушка на антресоли не отправляется. Надежда, пока Женька переучивался, в физиотерапии работала, там теткин руку и «пользуют». Сначала Генка до кабинета тетушку доводил, теперь и сама добирается — и туда, и обратно. Дождавшись, пока «в доме воцарится мертвая тишина», переносу дочку на свой диванчик, а сама перебираюсь к маме под бок.

— Ма? Двадцать же лет прошло, а ты молчала...

— Как молчала? Сразу и сказала, когда ты увидела, что отец плачет. Без подробностей, конечно, я же и про свою маму, вторую твою бабушку, тоже не распространялась. Тебе же Маруся при

мне, еще перед войной, когда вместе с Федором в гости в Москву приезжали, рассказывала, что маму мертвую лошадь, умница, сама домой привезла.

— Так у нее по дороге, когда за дровами ездил, инфаркт случился... А тут...

— Так ведь отец взрослый, войну отвоювал. А мы детьми были. Да и ты как должное, без эмоций, помнится, к сведению приняла. То по каждому пустяку почему-то засыпаешь, то непонятно, про что думаешь. Я вот долго прикидывала, как тебе объяснить, если спросишь, с какой такой стати не Семен Фабристов, а мы с тобой летом 45-го к Ирине в Белоруссию ездили? Он же и пропуск на нас, и билеты доставал. Мог, но сам не поехал? А у него в Белоруссии все! И дом, и жизнь, и работа, и дочь старшая, Лизина падчерица. Скарб кой-какой и тот в сохранности. Маня в отца — акуратистка.

— Как почему? Они же под Ленинградом в Райволе. Теперь Рошином называется, жилье приличное получили. А Оршу всю разбомбили, и станцию, и депо паровозоремонтное. Зато в Райволе финские дома, финнами брошенные. Вот Смирновы за них и похлопотали. Федора туда лесничим назначили. Не сама же я это придумала, и тетя Лиза, и Валя так объясняли. Давно, когда с Генкой маленьким на лето к ним приезжали. Все помню, и козу, и печку-голландку, круглую. Совсем как в Лесном.

— Коза, печка, сундук кованный, старинный... А люди? Людей помнишь? Мальчика, например? Или хотя бы Марию Ефимовну, сестру Семена, младшую? Марью Ефимовну? — В мамин голос впервые что-то похожее на разочарование.

Мальчика? А как же! Валя же нас познакомил. А тетя Лиза, в лесу, когда за грибами пошли, объяснила. Семену он родственник, внучатый племянник, родители, оба, погибли, а мальчишку в детдом забрали. Мария Ефимовна его два года искала, нашла, да одной ей внука не вырастить. С его родственниками по отцу списалась, они где-то в Сибири живут. Как получит твердый ответ, так и уедут.

— И тебя это не удивило?

— Что же тут удивительного? У одной моей однокурницы, она у нас иногда ночевала, когда на филфаке учились. Отец ее, как призывали, под Москвой и погиб. Мать с младшими вместе с заводом под Пензой, а их из летнего лагеря за Урал. Два года по детдомам искали. Так это Москва, Сокольники, не Минск. И мальчика еще как помню! Незнакомую птицу увижу — и вспоминаю. Он только про птиц и рассказывал. По книжке. Немецкая, наверное. Я его в лес зову или хотя бы к козе, на задворки. Ни в какую. Бабушка, мол, приказала дома сидеть. И из комнаты не высываться.

— И это не удивило?

— От таких удивлений в детской моей копилочке давным-давно тесно! Да и ты не всегда и не все замалчивала. И про Славика предупредила, и про Прасаловичей. Вот и про это могла бы предупредить, я же уже большая была...

Юльку мы все-таки потревожили, вертится... Забираем.

Из всех моих связанных с войной воспоминаний неожиданная поездка в августе 45-го в Белоруссию, в село, где долгие годы учительствовали Прасаловичи, там же всю оккупацию и прожившие, и впрямь меня почему-то не озадачила.

Даже сильных впечатлений не оставила, если не считать остановки в Смоленске да бессонной ночи на разбомбленном перроне в Орше, где, в ожидании утреннего рабочего товарняка, волновались: а вдруг прозеваем. Он же до нужного переезда довести должен, от которого до тети Иринино дома и пешком дойти можно. Благо дорога маме известная...

Вообще-то ничего необъяснимого в моей неозадаченности нет. В первое послевоенное лето Женьку со старшей группой детского сада отпра-



Белоруссия. Оккупация. Дети у здания деревенской школы, бывшей земской

вили до сентября в оздоровительный лагерь, и у меня началась другая, свободная жизнь. Классики, прыгалки, тайные побеги на Москву-реку, и кино, кино, кино... Ну и подружки, конечно. Ноги помоешь, зубы почистишь — и на диванчик... А о чем там, в большой комнате, за казенным дубовым шкафом разговоры ведутся и кто из родичей при том присутствует — и любопытствовать неохота. Но в декабре 1964-го я все-таки спускаюсь «в подвал памяти», а вдруг... Увы, картинки хотя и сохранные, но на удивление невыразительные, слишком похожие на кадры из бедно раскрашенной кинохроники. То приближаются, то удаляются, будто кто-то невидимый тщится отфокусировать расфокусированные титры. Впрочем, особой нужды в этом нет, я же усваиваю смысл бегущей строки с голоса. Голос — мамин, не нынешний, правда, и оттого чужеватый. После ночи на раскуроченном перроне в Орше и набитого битком рабочего поезда, высадившего нас у знакомого маме разъезда, и просыпающееся солнце, и глад-



Орша. После освобождения. Сентябрь 1944 года



Фотография Толи Прасаловича с друзьями. 1940 год. Больше всех не повезло старшему из сыновей Михаила и Ирины Прасаловичей — Анатолию. Он только что поступил в Военно-воздушную московскую академию имени Жуковского. И поступил с блеском, на все «отл.».

Вот только окончить ее из-за отца ему не пришлось. Но я не только поэтому публикую эту фотографию. По ней видно, как быстро мужали молодые люди 30-х годов. Анатолию на приведенном фото нет еще и восемнадцати, а он, как и его товарищи, взрослый мужик. Молодой, но взрослый

ко утоптанная тропа кажутся чем-то неправдоподобно довоенным. Особенно по сравнению со вчерашним утром, когда пассажирский Москва — Брест надолго задерживается в Смоленске. У пассажиров, осаждавших почему-то именно наш вагон, совершенно одинаковые ярко-соломенные вихры, но черно-серые, чумадые, голодные лица. Но это там, а здесь деревня как деревня. И яблоки в саду воровали, и бульбу уже опять колхозную. И церковь целехонькая. Конечно, если подальше от села отойти — туда, где младший из Прасаловичей Вовка с местными подлетьшами самогонку «працуют», — там уж, конечно, не как в кинохронике. Там уж точно боями порушено. Зато вот эта, Оршинская... И как же вышло, что только двадцать лет спустя впервые я эту картинку по частям рассматриваю? Рассмотреть, впрочем, как следует сразу не удастся. Мамина рука привычным с младенчества жестом осторожно поправляет сбившееся одеяло, и голос у нее совершенно не сонный:

— Умная ты вроде, дочь, а маленькой поумнее была, зря я с твоим глупством боролась. Михаил (это о Прасаловиче) сам во всем виноват. Как только при немцах церковь открылась, сразу же бабок-хористок стал по окрестности собирать. И не немцы его в церковь под конвоем вели. Сам кинулся. Обезножил, дряблый, на правое ухо не слышит. Какой из него регент! Деревня не выдала — поп постарался. Его вместе с попом наши и взяли... А сказала зачем? Затем, чтобы лишних вопросов не задавала. Злая на него Ирина была. Себя погубил. Твой выбор и ответ твой. Но он же, дурак, сыновьям жизнь испортил. И Толе, и Юре. Вовка, с тем обошлось — с дальнбойщиков какой спрос.

— Да я об этом, мам, сама догадалась. Но и ты, если на то пошло, не с Прасаловичей начала, с Фабристовых. Так ведь и тут тебя Маруся опередила. Только я ей честное слово дала, что никому секрета не выдам. Когда в командировку в 1957-м от «Советского воина» в Ленинград приезжала. Клятву тетка взяла, что ненароком не проболтаюсь. Мало ли что? Вдруг нечаянно ляпну. Из-за Мани, Лизиной падчерицы, Семен Ефимыч в Белоруссию ехать не захотел, ни ехать, ни возвращаться. Она же, как Митраховичи выяснили, с немцем погуливала, с тем, кто у них на квартире стоял. Минск под немцами — что Ленинград в блокаде. Три года без малого.

— Что правда, то правда. Да только не вся. Маня — что? — посудачили и притихли. Кто без греха? Все на постояльцев и стряпали, и стирали. Тут посерьезнее дело. Про это в 47-м ни Смирновы, ни Валя не знали. Только сам Фабристов, Лиза да я. Ну и сестра Семена, бабушка того мальчика, которого в Райволе прятали. От соседей скрывали. Почему прятали? Да потому что и отца его, и мать, Марии Ефимовны дочку, принародно казнили. Не немцы, советские. За что? Городской водопровод и канализацию восстанавливать согласились. Все коммунальщики успели уехать. Они опоздали. А что поделаешь? Минск в войну — это не одни немцы-захватчики, это же и жители. И если бы расстреляли по приговору суда! Пусть и скорого, и не правого, но суда. Так нет же! Повесили. Прямо на площади.

— Мама! Все, хватит! У меня там, внутри, что-то нехорошее делается. Еще слово — и улечу, как тогда, в 41-м! Помнишь, Леля при всех на Щучке рассказывала, как я от войны убежать хотела. Они с Верой искать меня бросились, почти до центра Лопасни бежали... Екатерина Степановна и та обеспокоилась. Заснуть не заснем, просто так

полежим. Тихо. Внучку тебе под бочок подброшу, сама напоследок с диванчиком пообнимаюсь...

Юлька, правда, все-таки разбудилась и даже похныкала, но недолго. А я лежу себе и лежу и, словно бы в полусне, на качелях раскачиваюсь.

1945. Орша. Вокзал.

Самое начало августа

В поезде — жара и духота несусветная, а сейчас холодает. Из выношенной до лысинок самовязки мама выстраивает для меня палатку. Натянув на голову шерстяное утепление, задремываю, да тут же и просыпаюсь. Не от холода, нет, от упоительно, паровозом, пахнущего тепла! *Гоподи, гоподи*, как причитал когда-то, оголодав, со слезою, мой старший, мой маленький братик. Для него, несмышлениша, — война всего лишь холод да голод, и ничего сверх. Но какой же Паровоз-Паровозище всемогущий, да еще и целый-целехонький! Какой горячий и сильный, посреди страшных обломков послевоенного железнодорожного мира! Крутит, крутит свои шарниры, ничего, ничего, говорит, образуется! А ведь и впрямь образовалось! Нынешние скоробогатики ерничают, высмеивая мизерабельность хрущевок! А я, как и Ахматова, — навсегда хрущевка! Он же гениально квартирный вопрос разрешил! Летом 1961-го я и подумать не могла, что всего через четыре года, в конце мая 1965-го, буду стоять на балконе собственной отдельной квартиры и слушать преображенского соловья. Муравьев в своей комнате колдует над курановскими «Колыбельными руками», дочь спит, светлый буковый паркет сияет при лунном свете... А соловей...

Соловей на кладбище
Преображенском,
Наладив свистульку,
Исходит блаженством,
Ледяной свой челнок
В музыкальную шпульку
Заправив... А строчка
Петляет, петляет,
Монастырскою гладью
Ночь расшивает...
Как по рытому бархату
Да по звездной наколке
Рассыпает он яхонты,
Закрепляя их шелком.
Ах, фазаны, розаны,
И все швом за иголку!
А купавы что павы —
Златошвейное чудо!
Черный вензель отрава.

Желтый венчик остуда.
Расцветают рулады
Наваждением бесовским
Над могильной оградой,
Что за башней Петровской...

Вот подрастет дочка — и мы с ней семейно куда-нибудь вместе с Муравьевым поедем. Вагон хотя и купейный, а все-таки еще старенький, довоенной постройки, и стаканы и подстаканники почти те же. Муравьев делает вид, что спит. Верхние полки до завтра свободны, забронированы для недолгих транзитных пассажиров. Полуночичаем только мы, она да я. К счастью, наше первое совместное путешествие к самому синему Черному морю в августе 1969-го оказалось совсем не таким, как представлялось. Потому как представлялся, конечно же, банальный измызганный Коктебель. Сама я была там всего лишь один раз, когда в Литфонде оказалась невостребованной койка плюс рабочий стол в тамошнем ДТ на октябрь. Причем не в основном здании, а в считавшемся волошинским флигеле. Октябрь выдался на удивление теплым, раза два я даже рискнула проплыть чуточку в затишке между каменными глыбами. Причем в лапах и в маске с трубочкой — соседка по столу предложила попробовать. Но октябрь и в Крыму октябрь, а нам, дочке особенно, хотелось настоящего теплого летнего моря. А когда выяснилось, что Коктебель и не в сезон проблематичен, была в таком горе, что дед, проявив неожиданную активность, достал через давнего сослуживца по Севастополю семейную, на троих, путевку в дом отдыха «Песчаное». Ни сам сослуживец, ни члены его семьи в «Песках» не бывали, но, наведя справки, удостоверил: автобусное сообщение между Симферополем и Песчаным регулярное. Не был там никогда и отец, но хорошо помнил, что в его годы на том самом месте располагалось что-то вроде полуполигального подсобного хозяйства, куда время от времени отправляли прихворнувших краснофлотцев, чаще всего подводников, и возвращались они оттуда, утешал он нас, и меня, и внучку, загорелые, сытые и веселые.

Вот мы и поехали, точнее, полетели. Ж/д-билетов по маршруту Москва — Симферополь не было. Информация оказалась неточной, рейсовый автобус приковывал лишь под утро, а мы прилетели на вечер глядя. Но это семечки. Главный сюрприз преподнесла столовка: отдыхающих здесь практически не кормили. Впрочем, в первые полтора дня мы туда и не заглядывали. Отсыпались. Мама, несмотря на наши протесты, всучила все-таки сумку с едой «на дорожку». Первым



Крым. Песчаное. Фото 2011 года. По-видимому, как и в 60-х, эта территория, включая дом отдыха, числилась временно арендованным у Украины «владением» Черноморского флота сначала СССР, потом России. Иначе трудно объяснить то, что ландшафт на фотографии 2011 года почти не отличается от того, каким был в конце 60-х. Если не считать современной выделки лежаков, которых тогда и в помине не было, да нового названия старого дома отдыха — «Черноморец»

отоспался и даже сбегал на разведку Муравьев. Он еще из автобуса разглядел, что почти что рядом, впритык к ограждающему территорию забору, кучерявится неведомое пространство, густо поросшее дремучим кустарником, явно напоминающим заросли джиды — единственного лакомства его среднеазиатского детства. Оказалось, что интуиция не подвела. Юлька обсасывала тощие, слегка сладкие ягоды как леденцы. Здешняя, крымская, вконец одичавшая джида умудрилась дорасти до широты почти дерева, отбрасывающего тень. Разгребая в шесть рук сучье и колючки, мы неожиданно обнаружили не только более тучные, увешанные ягодами ветви, но и что-то вроде растрескавшейся мраморной плиты. Ну чем не античная скамейка! Муравьев воодушевился и стал выдергивать корни вцепившихся в мраморные обломки кустарников. То, что открылось нашим обалдевшим глазам, было чудом

из чудес. На практически целом мраморном постаменте, горделиво отвернувшись, в профиль стоял Мраморный Лев. Знакомьтесь, представил маленького гордеца Муравьев: Его Высочество Лео Минор. Больших Питерских Львов, с которыми мы познакомили дочку прошлым летом, она только слегка осторожно погладила, а на этого сразу же уселась как на лошадку. И так к нему привязалась, что уже в Москве Муравьеву пришлось вылепить из учебного непрочного гипса его игрушечное подобие, а мне, распустив связанную мамой, удачную, кстати, шапочку (что было большим везением, с головными уборами у меня до сих пор проблема), — но тут было не до шапочек! — связать на очень тонких спицах гипсовому Высочеству блекло рыжую, почти такого же цвета, как у ТОГО, шкурку. Наши усилия, как Муравьев и предсказывал, оказались напрасными. НЕ ТОГО ЛЕО Юлька так и не полюбила. И даже не расстроилась, когда он, свалившись с тумбочки, развалился на части, а внутреннее проволочное крепление, обнажившись, наделало рваных дырок в рыженькой вязаной шкурке. Но это когда еще будет, а пока мы бежим, чтобы не опоздать на обед. Официантка, румяная и белозубая деваха, сердито спускает с подноса четыре горячие тарелки с чем-то слабо напоминающим постные летние щи. Я, конечно, снимаю пробу и ужасуюсь. Муравьеву и пробовать не надо. А Юлька не сводит любопытствующих глаз с нашего визави (столлик на четверых). Ловко орудуя консервным ножом, он вываливает в тарелку целую банку свиной тушенки. Ест как фокусник, с ужасающей быстротой. Старушка-подсобница, сливая в ведро содержимое остальных тарелок, смотрит на Юльку жалобно, а фокусник на Муравьева — презрительно: «А вы, что, на халяву чего-то другого ждали? Сюда без консервных запасов никто не ездит, путевки-то профсоюзные. Задарма...» Муравьев растерян. Таким я его никогда не видела. Подходит Румяная и так же сердито ставит перед Юлькой подобие манной кашицы. И еще, мило: *хлеб можете забрать. Разрешается.* Выходим. По-



Песчаное. 2011 год. Частный сектор. Частный сектор, конечно, за долгие годы и разросся, и озеленился, но сохранил при этом сугубо частный, какой-то патриархальный, а не новый коммерческий вид



Фонтан любви. Фонтан «Живой Бахчисарай». 60-е.
Дочка разочарована. Да и я ожидала большего усердия и
внимания к пушкинским местам от здешних властей



Джида. Такой крупной, явно садовой джиды в Песчаном,
конечно, не было. Но Муравьеву, чье отрочество связано
со Средней Азией, она, думаю, запомнилась именно
такой — крупной и сладимой

эмгэушном буфете. Протягиваю руку за вторым, но Юлька смотрит на меня зверем. Нет, нет, не зверем, а жалким голодным зверьком.

Подташнивать ее начало еще в автобусе. Но ночью... Хорошо, что успели «арендовать» и плитку, и совершенно новую алюминиевую кастрюльку. А вот на рыночный пяточок опоздала. У хозяина ослика, судя по акценту, армянина, ничего съестного, кроме заказанного, но почему-то не востребованного кулька с молодой картошкой, уже не осталось. Завтра, мол, приходи, да заранее. Персик будет. Бальш-ой... И, раздвинув ладони с загнутыми пальцами, показывает: вот, мол, какой.

Картошки были мелкими, но сахарными. Да и хлеб, почерствев, стал съедобным. Словом, на завтра я не только не опоздала, еще и появилась заранее, так что, пересыпав в мою сумку увесистый пакет с картошкой, хозяин ослика чуть ли не доверху заполнил ее персиками. Подумав, прибавил и огромную круглую помидорину и денег за нее не взял — магарыч, дескать. Юлька постепенно оживала. Что касается меня, то я, представив, что нахожусь не на «курорте», а в блокадном Ленинграде, исправно посещала столовую. И когда там объявили, что желающие посетить Севастополь должны срочно оплатить поездку, решила все-таки съездить. А вдруг... Ничего похожего на *вдруг* не получилось. Место, где стоял когда-то наш дом, ноги мои, пусть и путаясь, отыскивали — на его фундаменте красовался совсем другой дом, облицованный серо-сизой плиткой и увитый глициниями. Меньше других пострадала от войны Большая Морская. Сохранился и угловой магазин. Правда, торговали в нем теперь не пирожными, а сувенирами. Продуктовые были фактически никакими. Кроме краснодарского чая, рафинада и сушек, купить было нечего. Город, по-видимому, как и встарь, «питался с рынка». Но мои Муравьи

жиратель свиной тушенки, бросив недокуренную папиросу, увязывается за нами и на ходу, как бы в воздух, то ли советует, то ли рассуждает: электроплитку можно и напрокат взять, и кастрюльку тоже, а с утречка и местные кое-чего подвозят. Кто бульбу, кто персики. Но с утречка мы едем в Бахчисарай. Экскурсия.

Судя по путеводительным фоткам, нынче в Бахчисарае псевдорай для скоробогатых. А тогда... Фонтан любви, фонтан живой... На заросший ржавчиной бывший мрамор изредка каплет такая же ржавая вода. Ритуальные розы — их продает закутанная в черное молодуха — прикрыты влажным черным платком. Не вспомнив, какого цвета же были те, пушкинские, на всякий случай покупаю разные, белую и красную. А возле автобуса столпотворение: привезли на тачках огромные посудыны с чебуреками. Кому — в носовой платок, кому — в газетку, некоторым, мне в том числе, предлагают, ежели чуточку приплатить, в миску. С возвратом, естественно. Откуда ни возьмись, сбегаются кошки. Муравьев, надрезав чебурек, вытряхивает начинку — кис-кис-кис... А по мне не хуже, чем жареные пирожки с повидлом в

и сладкому чаю с сушками обрадовались. Оказывалось, без меня уже и к морю ходили, а ослика Юлька даже погладила.

Утро, впервые, завязилось нахмуренным. Муравьи, прихватив персики и сушки, отправились в гости к Лео Минору, а я, слегка утеплившись, двинулась вдоль берега. Шла, не отрывая взгляда от предштормового моря. Что-то, а море не изменилось. Шторм то приближался, то отступал. Золотые пески кончились. Тропа, обозначившись, завилась. Я огляделась и увидела то, чего никак уж не ожидала. Метрах в десяти от меня стояла корова. Невысокая, ладная, черно-белого окраса, с небольшим, но ухоженным розовым выменем. Доверившись тропе, прошла еще метров сто и остановилась на краю еле наметившегося распада, посредине которого расположилось нечто подобное деревенскому дому, окруженному, вместо забора, кукурузным широким кольцом. Строение казалось просторным, но, взглядевшись, сообразила: к жилому помещению вплотную придвинута сараюшка, на типовые сарайчики не похожая. Неужто жилье для коровы? Людей, живущих в неожиданном, не по-здешнему слаженном доме, мое появление, похоже, насторожило. Сначала на крыльце обозначился хозяин, потом хозяйка. Незванный гость хуже татарина, а мое поведение и впрямь непонятно. Не спускаюсь — не ухажу. Ситуацию переменяла коров: замычала каким-то особым успокаивающим мыком: да я туточки, дескать. Хозяйка, наказав, видимо, мужику не вступать и прихватив торбочку, стала медленно подниматься. С какой надобой заявила, это-то она вмиг поняла, а как ответить, похоже, прикидывала. Впрочем, и я прямого отказа дожидаться не стала. И вряд ли сделала бы еще попытку, если бы не Муравьев. Он и не просил, и не уговаривал, то да се, то ей словечко, то хозяйну... Короче, пообещали. Однако ж с условием: приходите вечером, точь-в-точь к удою, и чтобы кружку парного девчонка тут же, в сарайке, и опорожнила. А то и другие заметят и начнут клянчить. Нет, нет, история с бахчисарайскими чебуреками не повторилась. Юлька не заглывала «нолитое» до дна, залпом, и не смаковала вкуснятину вежливыми глотками. Она это звериное еще молоко высасывала, как бы вместо отсутствующего теленка.

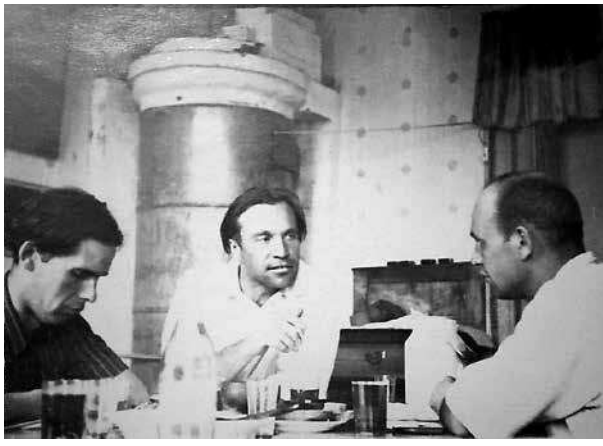
Мужики разговаривают, причем выясняется, что они «с Донбассу». Хозяйка, процедив и разливая удои по стеклянным банкам, уточняет: из-под Луганска. На Юльку я стараюсь не смотреть, я смотрю на корову. А корова глядит на происходящее такими глазами, как если б кормила не чужого, а собственного детеныша.

Чем уж это объяснить, не знаю. Но с той, первой, кружки парного молока курортная неудобь стала улаживаться. Пляжные наши знакомцы, почти соседи, как выяснилось, и по Москве, по Преображенке, люди веселые, общительные и молодые, провели нас (полукрадучись!) в загадочное подвальное помещение, оказавшееся вполне приличной, хотя и дороговатой «едальней».

И все-таки мы поссорились, причем ни Муравьев, ни Юлька так и поняли, почему. Впрочем, Муравьев, может, и понял бы, но я, отплакавшись, к этому ЧП больше не возвращалась. А вот Юлька, уже взрослая, всерьез удивилась, когда я буквально несколько дней назад призналась ей, что до сих пор не могу сообразить, каким образом Муравьев умудрился ЭТО сделать. А сделано было вот что. Примерно за неделю до отъезда, когда к молочникам, о чем «зараньше» и предупреждали, приехала погостить племянница и предвечерние путешествия в коровью сторону сделались безмолочными, мы перевернули маршрут предзакатной прогулки справа налево. Береговая полоса была здесь узкой, приходилось либо обходить, либо перелезть через каменные глыбы. Отправленный в разведку Муравьев проход меж камнями все-таки обнаружил. Вот только пролаз оказался слишком тесным даже для тогдашних моих габаритов. Усевшись на плоский камень, я все-таки нет-нет да взглядывала на своих Муравьев. Но им, как и дома, едва оставались вдвоем, было не



Наша ссора продолжалась почти целый день. Даже на пляж с муравьями не пошла. Читала, впервые раскрыв прихваченную в самолет книжку. В надежде, что меня начнут искать. Увы, пришлось самой их окликнуть



Муравьев у себя дома. В Костроме. С товарищами-художниками. Справа — Слава Машаров, слева — Николай Шувалов

до меня. Вот и теперь, отделавшись от неусыпного любопытства вездесущей крысы Шушеры (меня то есть) и провотив ритуальное: «Нет над нами тирана», они словно бы исчезали, быстренько преобразившись в персонажей блистательно пересказанной Борисом Заходером английской истории про вечную дружбу Винни-Пуха и простодушного Пятачка. Со временем история эта и одомашнилась, и усложнилась, а имена главных действующих лиц, наоборот, упростились. Винни-Пух, то есть Юлька, стал просто Пухом, Муравьев по собственному почину переделался из Пятачка в Пита, а то и в Питу. Да и мое первоначальное первокрестильное злое имя — Шушера слегка раздобрело, однако определенности не обрело, меняясь в зависимости от крысиного поведения: если я ругалась, обзывалась Шунькой, в хорошие минуты — Шуней и даже Шунечкой, а то и совсем уж коротко: Шу.

Когда-то, давным-давно, Асатурян, отпуская нас с драчливым своим сыночком на волю, первым делом наказывал: прежде чем затевать визги-царапки, надлежит поглядеть вверх. Чтобы убедиться: с нависшего над берегом взгорья что-нибудь опасное не сорвется. Но я об этом забыла. Начисто. И впервые задрала голову только в тот день, когда Муравьев, едва мы, втроем, оказались возле каменного моего канапе, предложил посмотреть вверх. Юлька, глянув, запрыгала, а я обомлела и онемела от ужаса. Одно неверное движение — и... Разрушенный каким-то катаклизмом левый прибереговой холм был сложной конфигурации. Однако именно в этом месте выглядел ровным, словно пополам разрезанный острым ножом ржаной каравай, и на нем высоко, сильно пониже вершины — крупно и ярко белым

было написано: Пух!!! От ужаса было одно спасение: бег! И я побежала. А когда вернулась, они, оба, уже спали. Или искусно делали вид, что спят.

Рассматривая мысленно последнюю крымскую картинку, на всякий случай все-таки спрашиваю: отец тебе когда-нибудь рассказывал, каким способом можно такое сделать? Зачем? — удивляется дочь.

И в самом деле — зачем? Рассекреченный секрет — это уже не секрет...

Да, конечно, любой переезд прибавление. Всего — и ума, и роста. Вот только все-таки вверх и вширь, то есть восполнение объема, а не в глубину прорастание. Вроде припека, а не перемена жизни. До первого военного июня пусть и яркие и подробные, все впечатления бытия, и перемена мест в первую очередь, не противореча, всего лишь прикладывались друг к дружке. Тети-Марусин Леспромхоз, куда Смирновы устроились, погостив в Лесном, к тети-Лизиней Орше, Орша к маминим Горкам, Горки к отцовским Новоселкам и к дяди-Сережиной Лопасне. Мир расширялся, не меняясь. В «основе основ» не переменялась. Мама почему-то была убеждена, что первое наше с ней путешествие по железной дороге не произвело на меня впечатления. Столь же сильного, как, допустим, на четырехлетнего Алешу в «Почемучке», вернее, реального мальчика, с которого тот списан. Она и права, и не права — вместе. От поездки из Лесного за Тверь на границу с Эстонией, в тамошний Леспромхоз, в гости к Смирновым, и впрямь остались лишь две картинки. На одной, плохонькой, едва различимо что-то похожее на какой-то вокзал. В реальности, видимо, Варшавский, невеликий, красивый, и наверняка не удручающе многолюдный, но для меня — никакой. Зато на другой! Крупно! Таинственно! Страшно-огромно! Набирающий пары Паровоз.

Не сама дорога, перрон, вагон, билеты и т. д. Паровоз!!! Это же не просто большая машина, вроде городского трамвая, а неведомой породы чудовище! Наверное, для меня тогдашней, летом 1935-го, — почти как у Вяземского: «Змий — не змий и конь — не конь, / Зверь чудовищно огромный, / Весь он пар и весь огонь!»

Может, пугающая эта красота-сила и «притузила» все остальные мои удивления. Даже Морской Порт и Форт Севастополь, при всем его солнечно сверкающем сине-бело-золотом великолепии, не умалял сладкого ужаса, который обрушили на мои два с половиной нечеловеческий голос и страшно задвигавшиеся части железного черно-красного Паровозного тела! Да что Вяземский. Илья Репин, ему-то в ту пору не два с полови-

ной, а восемнадцать, и тот и испугался, и обомлел от восторга: «Вдали свистит и стреляет густым белым паром вверх какой-то черный самовар и быстро приближается прямо на меня...» А поездки — что? Происходящее в вагоне менялось, потому что менялись соседи, контролеры и проводники. Не менялся лишь Паровоз. Дочка, правда, Паровоза вживую в работе уже не увидит. Только в кино или на картинке. Какие на переплавку отправлены, какие в музеи. И ей без разницы, кто же нас к синему Черному морю везет — самолет, старенький паровоз или новенький электровоз. Впрочем, и у меня не банальная ностальгия по особенностям железной езды в годы бедного моего детства. Паровоз в моем восприятии и был, и остается образом двойного зрения. С одной стороны, невероятно удачное изделие рук человеческих. А с другой — чуть ли не Черный Гость, вторгшийся в естественную жизнь из параллельной опасной Сверхреальности. До сих пор, к примеру, дивлюсь написанному «Ночью на железной дороге между Прагою и Веною» П. А. Вяземским. И не тому, что, впервые увидев паровоз, уподобил его почти по-детски сказочному дракону. И не тому, что сразу же понял, как изменит российский быт переход с дожелезной езды на железную. Это-то и понятно, и предсказуемо. Другое поражает: почему такая вроде простая вещь, как железный аналог лошадиной силы, навела штучного князя на мысль об опасной силе человеческого ума — «силам адовым сродни!» И не тем опасной, что на неприродных скоростях душа «задыхается». В другом, в том, что сила сия хотя и ненасытна, но отнюдь не всесильна:

Но безделка ль подвернется,
Но хоть на волос один
С колеи своей собьется
Наш могучий исполин, —

Весь расчет, вся мудрость века —
Нуль да нуль, все тот же нуль,
И ничтожность человека
В прах летит со всех ходуль.

Ну ладно, оставим страшные сказки-баллады. Вернемся в пока еще не слишком опасный и почти обжитой и понятный «домашний круг». Рассказывая о старшей своей сестре, мама не забывает добавить, что отец и Вали, и Славы, а Елизаветы Филипповны муж Семен Ефимович Фабристов — старший мастер Оршинского паровозоремонтного ДЕПО. О том, что этим обстоятельством во многом объясняются не типовые маршруты наших перемещений во время эвакуации, я уже упоминал.

Распространяться не хочется, но несколько подробностей все-таки добавляю. Без этой добавки даже картинка, августом 1945-го датированная, могут показаться недостаточно внятными.

Итак, снова Орша. И снова август 1945 года.

Мама то старательно укутывает меня как маленькую, то разговаривает с дежурным по станции. Но ей, как выяснится через несколько часов, не до воспоминаний. Тем более довоенных. Как спрыгнем из узкоколейного рабочего товарничка, так и выяснится. Мне ситуацию (в общих чертах!) разъясняет, успокаивает, дежурный, дескать, о нас не забудет, предупредит, к какому месту товарничок подадут. Но сама-то в мыслях и чувствах не здесь, а там, где Ирина и где нити родства и свойства вконец запутались в неотменимости обстоятельств и в путанице ситуаций. Зато я-то как есть туточки! Раскачиваясь на своих качелях: из Орши 35-го в Оршу 37-го, а оттуда в январь 1941-го. Туда-сюда, отсюда туда... Притормаживаю, однако, только один раз. А притормозив, выскакиваю на перрон в раннее лето 1937-го. Славика в городочке нет, он на конных соревнованиях. Впрочем, и без него в фабристовском доме и трам, и тарарам. И тетя Лиза, и Валя, и Маня, она же тоже Семена Ефимыча дочь, только от первой покойной жены, заняты шитьем. Лоскуты, ленты, бусины, ссыпанные, как вылущенный из стручков горох, в мисочку. Нитки, ножницы. Большие, средние, крохотные... Через неделю в клубе народного творчества представление, где Валя со своей подружкой готовят танцевальный номер, для него-то и сочиняются и расширенные бусинами жилетки, и еще много-много чего. Представления мы с мамой не дождемся, уедем. Сначала в Горки, оттуда, может, и в Новоселки, а когда возвратимся, Валя покажет нам фотку, где она в этих шапочке кокошником и жилетке красуется. А потом, зимой 1940-го, покажет еще и ту, где она со Славиком. Уже призванным в действительную. В Конный казачий корпус. Но пока все в работе, а значит, и дом в разбросе. Семену Ефимычу предтанцевальный ералаш не нравится. Ужинает молча, разговаривает про паровозные дела только с мамой. Маме тоже, по-моему, не так-то уж интересно. Мне-то ужас как любопытно, а ей из вежливости. Не знаю, заметил ли это дядька, но почему-то неожиданно предлагает (позволяет) Лизавете Филипповне, захватившей меня с собой (поход в депо был, видимо, за получкой), заглянуть и даже зайти в пристанционную больничку для захворавших, надорвавших пуп Паровозов. Вот это было зрелище! Один, брезжится-видится, был даже подвешен, как елочная игрушка. Но это,

боюсь, кажимость. Наверняка захворавшего от перегрузки работу всего лишь взгромоздили на помост, чтобы простукать молоточком и кусачками заболевшее брюхо. Пустяк? Да как сказать. Зачем же тогда запомнилось? Больше того, одна картинка накладывается на другую, и два паровоза, разделенные во времени восемью годами, оказываются в одном и том же месте возле раскоряченной бомбежками и снарядами громады Оршинского паровозного депо. Один сильно захворавший, пуп надорвавший и пока бездыханный. И высоко-высоко. Где-то, почти «в середине нигде». Там... Зато другой — живой, целый, вот тут — рядом и дышит на меня теплом. Мама, проверив губами лоб, устраивает для моей головы платку. Из старенькой, растянувшейся, огромной, еще из Марусиной верблюжачьей пряжи связанной кофты...

Когда-то, давным-давно, английская моя приятельница миссис Джесси Девис по рассеянности забыла на Преображенке купленную в аэропорту на дорогу занятую книжицу. Довольно толстенькую, в глянцевой яркой обложке. В следующий приезд мы ее честно вернули. Тогда-то Джесси с пятого на десятое «содержание» и пересказала. Наспех, конечно, посему и зависла аглицкая хитроумная «ересь» в тумане воображения, то есть так и осталась максимой для личной надобности, из тех, каковые никому, кроме меня, не убедительны и не завлекательны. А вот меня, каюсь, убеждают, и чем дольше живу, тем чаще убеждаюсь: неведомый (мне) еретик — открыватель вещей, что «и не снились нашим мудрецам», существует. Но в чем же все-таки его открытие? А вот в чем. Жизнь каждого человека, даже географически, движется по нескольким направлениям. Некоторые из дорог, что в прямом, что в переносном смысле, выбираем мы сами, по некоторым продвигаемся силою вещей или волею случая. Но ежели, подводя итоги, нанести все эти маршруты на личную карту путника, обнаруживается несколько необычных линий. Даже простая статистика метит с нажимом, как перекрестья, места, где с данным конкретным «жителем земли» происходят нечто такое, что в совокупности претендует на непосредственное отношение к тому, что люди называют судьбой. Особые эти точки, если смотреть на них сквозь магическое стекло, еще и рифмуются, порою самым причудливым образом. А рифмы? То классика — полные. То бедно-глагольные. То сложносоставные, и т. д. и т. п. Больше того! Сделав усилие, замечаешь не только узловые точки, но и еле различимые воз-

душные нити, какими они и между собою связаны. В первый момент, конечно, пугаешься. Чур меня! Чур! Зачем мне эти «опасные связи», тем и опасные, что даже спасительный здравый смысл, единственный, казалось бы, надежный путеводитель, с толку сбивают. Правда, лишь в первый момент. До тех пор, пока в темноте не вспыхивает путеводительный луч (луч-путеводитель, по Лермонтову).

1961. Сентябрь. Угол Сретенского бульвара и Костянского переулка

Муравьев недели как полторы наконец съехал от Левушки Меграбяна. Удрал в Пушкино, освободив антресоль ее законным насельникам — пузатым московским клопам. Тогдашняя подружка, а вскорости и жена хозяина богемной берложки до сих пор помнит, как Муравьев, перегнувшись через антресольные перильца, сбрасывал очередного жирнягу, а она ловко его какой-то давилкой раздавливала. Галка же, видимо, и уговорила матушку приятельницы сдать якобы мне, а на деле Муравью-клопомору полухолодную часть дачи (две комнатенки и печь посередке). Договариваться ездили вдвоем, вместе, я-то при документах, а он нелегально. Во-первых, без прописки. А во-вторых, без паспорта, который вместе с брюками у него сперли, когда в фонтан для гостиницы «Юность» мозаичного дракончика запускал...

Дачновладелица, вдова вышедшего в начальники латышского стрелка, да и сама, судя по выговору, прибалтийка, всем прочим дарам уходящего лета предпочитала флоксы. Впрочем, не она одна. Флоксами тот день и запомнился.

Эти флоксы, запах вдовий,
Вкус подержанной печали,
У калитки нас встречали,
Натянув платки по брови.
Этот яркий, тот сусальный,
В цвет яиц и лент пасхальных,
Не малиновый, не алый...
Выгружает Подмосковье
Флоксы на свои вокзалы.

Прощаясь, в метро, на Кировской, о новой встрече не договариваемся — по-деловому, дружески. Другой бы наверняка слюбезничал. Собрать, мол, по частям краски-кисточки, и у Лебедевых в Луцино забытые, и у Аскольда Канторова в их новой кооперативной квартире оставленные, и на Сретенке у Меграбяна на антресолях припрятанные... По частям в Пушкино переправлю, то-

гда, думать, и звякну. А тут ни словечка. Ну ладно, думаю, — qui vivra verra. Позвонил, однако, и сразу же, как сам устроился: у Мегрябяна, вечером, Большой Сбор — магнитофон починили и Окуджава добыт. Встречать, отвечаю, не нужно, путь, говорю, известный. Но он, вот те на, встречается, точнее, перехватывает на углу Сретенки и переулка, того самого, куда в конце, если не ошибаюсь, 70-х, переместится «Литературная газета». И сразу же объясняет, почему караулит: в подъезде, вход-то черный, тьма тьмущая, лампочки из рогаток пацаны расстреляли, а у Левки народищу! Не продохнуть. Рискнем или, может, по бульварам пройдемся, а то все недосуг да недосуг? Рискнули, конечно, Окуджава все-таки. Галочка Мегрябян сейчас уверена, что встретили нас, опоздавших, утробным хохотом, потому как возникли мы в раме дверного проема в тот самый момент, как магнитофон как нарочно закашлялся, поперхнувшись, на «Песенке о Московском Муравье» завис. Но это чистой воды глюк. И Магнитофон, и его Владелец, уж это-то точно помню, и храбро, и небезуспешно боролись с приступами магнитофонного кашля. Муравьев, однако, и часа не выдержал — запись была дефектной.

Со Сретенского на Рождественский, с Рождественского на Страстной, со Страстного на Тверской...

На Тверском останавливаемся. Лавочку выбираю я. Ту, что всегда в тени и от фонаря подальше, а чтобы ничего этакое не подумал, докладываю, почему именно эта выбралась. Когда в Литинститут, в аспирантуру, экзамен сдавала, она почему-то всегда пустовала, вот на ней и устраивалась. И до, и после. Про «до» понятно, про «после» мог бы и вопрос задать. Сдала — не сдала? Приняли — не приняли? Не задает. Словом, чувствую себя решительно не в своей тарелке. Что за ерунда? Ни на Щучке, когда августовским борщом угощала, ни на Песчаной у Лебедевых, когда картины показывал, ни в Пушкино ничего подобного не было. Подозреваю, конечно, что Куранов Муравьева проинформировал: замужем, мол, старушка, но с мужем в разъезде. Он в Дубне, она тут. Аня у них даже в гостях побывала. До того, как разъехались. Еще минута — и я не выдержу... К счастью, вместо того чтобы вскочить, время, мол, позднее, зачем-то спрашиваю. Ежели, дескать, по шагам длину Бульварного Кольца не измерил, как узнает, какое из звеньев Рождественским называется, а какое Сретенским... Я-то границы их путаю. Муравьев с явным облегчением отвечает: «Я же еще и немного военный картограф. Карты военных сражений перебеливал. После ранения, конечно.



Тверской бульвар остался без Пушкина. Привыкнуть к этому я до сих пор не могу. И не потому, что в детстве меня сюда няньки гулять выводили. Чего не было, того не было. А потому, что здесь Пушкин был у себя дома.

И Есенин именно здесь с ним разговаривал:

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с тобой.

Группе профессионалов, на штаб Рокоссовского работавшей, художник-чертежник срочно понадобился. Вот меня в батальоне выздоравливающих и высмотрели...»

Напряжение спадает, и я, вспомнив кстати про лопаснинскую соседку, внебрачную якобы дочку знаменитого маршала, со смехом спрашиваю:



Фрагмент легендарной решетки, якобы ограждающей дом Герцена, то есть Литературный институт, от проезжей и проходной части. На самом деле дом принадлежал не отцу писателя Ивану Яковлеву, а его брату, и незаконно рожденный бастард с придуманной отцом фамилией Герцен прожил в этом здании всего лишь пять послеродовых месяцев. Но решетка впечатляет, так же как и легенда. Хотя сильно подозреваю, что нынешние питомцы сего заведения блистательно-умную прозу Герцена не читают



Памятник паровозу. Орша



Маня Фабристова, падчерица Елизаветы Филипповны, и ее младшая сестра, а моя любимая тетка — Марусенька. Орша, 1938 год



Дети Фабристовых, Валя и Славик. Славик уже призван в армию. В Конный казачий полк



Орша. Моя Кузина Валя Фабристова в танцевальном прикиде

«Что, и самого своими глазами видел?» И самого, отвечает, и даже картиночку ему подарил. На память, с автографом. С юмором у меня неважнецки, у него-то порядок, как бы впросак не попасть, а ну как шутит, а я не секу. Словом, меняю тему. И зря меняю. Муравьев, по обыкновению, хотя и шутковал, Рокоссовского и впрямь вблизи видел, и карандашный рисунок замка, в котором накануне большой пир был, по просьбе маршала подарил. Не на девятое мая, конечно. В Москву для командования парадом вызванный, отходную, похоже, устраивал. Для своих со-ратников. Вот и картографов привезли, они же, по всему судя, кроме официальных, еще и лично для Рокоссовского вторые экземпляры карт делали. Впрочем,

в тот вечер Муравьев его только издали видел. Зал громадный, и все блестит — ордена, звезды, парадные мундиры, а он со товарищи вместе с обслугою на краю, у выхода. Зато на следующее, выходное по случаю Праздника утро, прихватив кусок ватмана, в который карты упаковывали, карандашный кохиноровский набор завсегда в полевой сумке, в парк и утек. Из ящиков, в которых снедь привозили, и стул. и мольбертик соорудил. Все сотоварищи дрыхнут, а он в розовых кустиках, рисует себе и рисует... Вот тут-то его и заметили, они же верхами! Охраны не было, так, кавалька-

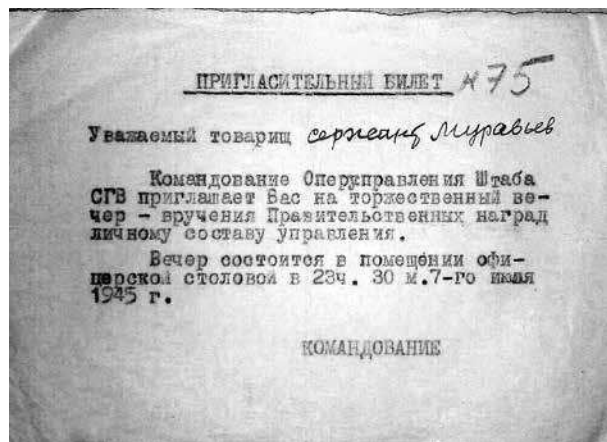


Константин Константинович Рокоссовский.
24 июня 1945 года. На параде Победы

да, утренняя прогулка. Двое все-таки спешились, и обыскали, и допрос учинили, хотели и куда надо сопроводить, да Рокоссовский знаком к себе по-дозвал. Так вот и поговорили. Маршал верхом, солдатик у стремени.

Картинка, к сожалению, растрепанная, из разных клочков составленная и в разное время... Тогда же мы по иной карте мысленно прогуливаемся и, чередуясь, отмечаем точки, где московские наши тропы могли бы пересечься. И хотя стараемся, единственным местом вполне вероятного пересечения оказывается Волхонка 1955-го, где с мая по ноябрь функционировала легендарная выставка картин Дрезденской галереи. Подробности опускаю, поскольку не уверена, что они тогдашние, а вот то, что нарядные московские дурочки на ху-дожников, тоже купницей в несусветной очереди державшихся, смущаясь, поглядывали — это запомнила. Мы уж точно робели... Про фестиваль, разумеется, речь тоже заходит, но тут уж скре-щений и быть не могло. Летом 1957-го мне было не до иноземных гостей. На то, что на Садовом кольце у бывших Полежаевских Крутицких казарм происходит, лишь время от времени в редакци-онное окошко взглядывала. Единственное, что отметила: знаменитый тот фестиваль открылся, оказывается, 28 июля, а это еще и день рождения

Муравьева. Просто так, машинально. Как в записы-ную книжку. И вот еще что, каюсь, припомнилось. Куранов, августовский борщ уплетая, про китай-скую напольную вазу рассказывал. В нее Алиса Григорьевна Лебедева трешки-пятерки за продав-шиеся муравьевские работы складывала. Так, мо-жет, они втроем потому и на Соколе очутились? Собирались на остатние китайские грошки 37-й Володькин июль отметить? А не застав академи-ка дома, ко мне заявились? Промолчала, одна-ко. Лет через десять, правда, съехидничаю. Да Муравьев только хмыкнет. И хорошо, что смол-чала. И лавочку правильно выбрала — дождить начинается. Муравьев достает из неизменного вещ-мешка прорезиненный плащ и ловко, по-солдат-ски переделывает его в непромокаемую палатку. Лицо его неожиданно близко, и руки почти как мамыны — теплые. Но он из палатки выныривает и, выпростав правую полу плаща, достает из карма-на спичечный коробок, а порывшись, и сигарету. Спичечница полнехонькая, огниво не получается, а так как опробованные спички оправляются опять в коробочку, продолжается это довольно дол-го, и я начинаю полегоньку озвучивать замаячив-шую перед глазами давнюю вокзальную ночную картинку. Ту самую, последнюю от августа 1945-го. Орша. Ночной перрон. Набирающий пары паровоз. Мама, сооружающая для меня из ста-рой-престарой верблюжьей кофты утеплитель-ное укрытие, старик-дежурный... Но вот спичка наконец вспыхивает, сигарета оживает, но так



Приглашение. В военном билете Муравьева сохранилось под номером 75 приглашение на этот прощальный вечер. Оно датировано 7 июля 1945 года. Рокоссовский, уже назначенный Главкомандующим Северной группой войск, прощался со своими фронтовыми соратниками. Картографов, однако, не демобилизовали. В результате Муравьев, и то с помощью медкомиссии, вернулся на родину, в Кострому, года на полтора позже своих ровесников, в том числе и товарищей по художественному училищу

неохотно — то потухнет, то погаснет. Муравьев, скомкав, щелчком выстреливает мяжишем в урну и, поменяв местами профили, с хмурого на хороший, как ни в чем не бывало спрашивает:

— Да где и когда это было?

— Как где? Я же сказала: в Орше. В августе 45-го.

— А не путаешь? Может, все-таки в 46-м?

Нет, отвечаю, не путаю. В 46-м не могли, младший братец родился в июне, какая Орша? А в 44-м...

Муравьев смеется:

— В августе 44-го я бы тебя непременно заметил. Ночь ночью, да у дежурного по Оршинскому вокзалу фонарь яркий, немецкий...

Это надо же, поражаюсь. Я-то этот фонарь помню, только на картинке плохо его видно. Я ведь Паровоз, не отрываясь, разглядываю, а дежурный старик с мамой по-здешнему разговаривает...

Но Муравьев уже напяливает на меня свой плащ, торопит, в Пушкино, дескать, поздно, придется у Левки до первой электрички кемарить, зато тебя до подъезда доставить успею.

Вопросов у меня полон рот, но он их, как теннисные мячи, гасит. Потом, как-нибудь. Потом затягивается, словно безо всякого плана начатая постройка... Когда-нибудь я ее все-таки, может, и дострою, а пока только о том, без чего даже сводная картинка моей войны будет неполной.

Подорожная, направившая находившегося на излечении младшего сержанта 252-го стрелкового полка Муравьева Владимира Пантелеймоновича в распоряжение высшего командования 2-го Белорусского фронта, была, видимо, достаточно весомой охранной грамотой, и 20-летний сержантик, похоже, не опасался, что его, якобы сбегавшего за кипятком, примут за дезертира. Во всяком случае, и он, и его попутчик, такой же

юнец, не догнав свой эшелон, не запаниковали. Расхаживали по ночному перрону, дожидаясь несущегося на скоростях в сторону фронта «Поезда милосердия». Дождались. В вагон не вошли. Покуривали в тамбуре. Своих у Муравьева не было, у попутчика были, и не последние. То да се... То да се... Докурились до того, что этот парнишка, хотя имени-отчества из осторожности не сообщил, как, впрочем, и Муравьев — ему, стишата собственного сочинения, не осторожничая, прочитал, да еще трижды, пока слушатель как отче наш не запомнил. Комментариев они, думается, не требуют.

Мы фронтовики, кандидаты в покойники, Стоящие в очередь за своей судьбой, Но мы не завидуем счастью спокойнейших, Оставшихся в стороне и довольных собой.

Что им до того, что продрог ли, промок ли ты, На них не каплет и с них не течет. Но всем им, будь они трижды прокляты, Предъявим солдатский загробный счет.

Он даст им свой ВУС¹ и свою категорию, Он дотом станет на их пути, И этим мерзавцам не даст в историю По трупам погибших солдат войти.

Но это потом, потом. А от первой и последней нашей совместной Большой по Бульварному кольцу Прогулки, кроме картинка, на память остались лишь три коротенькие строчки:

Скамья на Тверском бульваре.
Влажная сигарета.
Плащ — один на двоих.

¹ ВУС — военно-учетная специальность, обязательная графа в солдатской книжке.